

# Лекция 3. Теория суверенитета и механизмы господства

21 января 1976 г. Теория суверенитета  
и механизмы господства. — Война как  
принципы анализа властных  
отношений. — Бинарная структура  
общества. — Историко-политический  
дискурс, дискурс вечной войны. —  
Диалектика и ее кодификации. —  
Дискурс расовой борьбы и его  
превращения.

В последний раз мы распрощались с теорией суверенитета, поскольку она может или могла представляться методом анализа властных отношений. Я хотел вам показать, что юридическая модель суверенитета не была, по моему мнению, приспособлена к конкретному анализу многообразных отношений власти. Мне на самом деле кажется, если резюмировать все это в нескольких словах, точнее в трех положениях, что теория суверенитета обязательно ведет к возникновению того, что я бы назвал движением по кругу, движением от субъекта к субъекту, она свидетельствует о том, как субъект, рассматриваемый в качестве индивида, естественным путем (от природы) наделенного правами, способностями и т. д., может и должен стать субъектом, но на этот раз понимаемым в качестве подчиненного элемента в системе власти. Итак, во-первых, теория

суверенитета рассматривает отношение субъекта к субъекту, она устанавливает политическое отношение субъекта к субъекту. Второй момент политической теории суверенитета связан изначально с тем, что она выделяет множественность властей, которые не являются властями в политическом смысле слова, а представляют просто способности, возможности, силы, она может их конституировать в качестве властей в политическом смысле слова только при условии, что между возможностями и властями будет установлено прочное и основополагающее единство, единство власти. Неважно, будет ли это единство воплощено в образе монарха или государства; важно, что в нем берут начало различные формы, аспекты, механизмы и институты власти. Множественность властей, толкуемых в качестве политических властей, может быть установлена и может функционировать только исходя из единства власти, основанной на теории суверенитета. Наконец, в-третьих, теория суверенитета показывает, стремится показать, каким образом власть может основываться не на законе в точном смысле слова, а на некоей фундаментальной легитимности, более фундаментальной, чем все законы, которая является своего рода основоположением для всех законов и делает возможным функционирование различных законов в качестве таковых. Иначе говоря, теория суверенитета предполагает кругообразное движение от субъекта к субъекту, кругообразность власти и властей, кругообразность законности и закона. Можно сказать, что так или иначе — и, очевидно, в соответствии с различными теоретическими схемами, в которых она развивается, — теория суверенитета исходит из понятия субъекта; она служит для обоснования сущностного единства власти и применяется всегда в сфере, предваряющей появление закона. Таким образом, мы имеем триаду «первоначал»: стремление субъекта к подчинению, основание единства власти и уважение к законности. Субъект, единство власти и закон — таковы, я думаю, основные элементы теории суверенитета, одновременно ей данные и с ее помощью обосновываемые. Мой план — но я его сейчас оставляю — состоял в том, чтобы показать вам, каким образом понятие «репрессия», которым пользовались при политико-психологическом анализе в течение трех или уже почти четырех веков, хотя понятие «репрессия» кажется скорее заимствованным из фрейдизма или из фрейдо-марксизма, фактически служило составной частью расшифровки власти, которая основывалась на принципе суверенитета. Но это привело бы нас к тому, чтобы вернуться к вещам уже сказанным, поэтому я сделаю это в конце года, если останется время.

Общий проект предшествующих лет и этого года состоял в том, чтобы разомкнуть круг и освободить анализ власти от этого предварительного условия троичности субъекта, единства и закона и заставить проявиться не столько эту основу суверенитета, сколько то, что я назвал бы отношениями или механизмами господства. Вместо того чтобы выводить власть из суверенитета, прежде нужно было бы с помощью исторических и эмпирических исследований раскрыть отношения власти, механизмы господства. Когда речь заходит о теории и формах господства, а не о теории суверенитета, то имеется в виду следующее: во-первых, нужно исходить не из субъекта (или даже субъектов) и не из тех элементов, которые бы предваряли отношения господства и которые можно было бы локализовать, а из самого отношения власти, отношения господства в его фактических, реальных проявлениях, показывая, как само это отношение определяет связанные с ним элементы. Таким образом, не стоит спрашивать у субъектов, как, почему, во имя какого права они позволяют поработить себя, а нужно показать, как эти кабальные отношения в реальности создают субъектов. Во-вторых, нужно выделить отношения господства и оценить их во всем

многообразии, различии, специфике или взаимобратимости: не следует поэтому искать особый род суверенитета, выступающий в качестве источника разных властей; напротив, нужно показать, как различные механизмы господства опираются друг на друга, отсылают друг к другу, в некоторых случаях усиливают друг друга и сближаются, в других случаях — отрицают и стремятся уничтожить друг друга. Я, конечно, не хочу сказать, что нельзя или невозможно распознать или описать глобальные механизмы власти. Но я думаю, что последние всегда функционируют на базе более конкретных систем господства. Можно, конечно, точно описать школьный механизм или совокупность механизмов обучения в определенном обществе, но я думаю, что можно их эффективно проанализировать, только если не видеть в них глобального единства, не пытаться прямо вывести их из чего-то вроде государственного единства суверенитета, только если смотреть, как они действуют, опираются друг на друга, как этот механизм определяет некоторые глобальные стратегии, только если исходить из многообразия форм подчинения (ребенка взрослому, потомства родителям, несведущего ученому, ученика учителю, семьи администрации и т. д.). Таковы механизмы и устройство господства, составляющие реальную основу глобального механизма, который конституирует школу. Итак, следует рассматривать структуры власти как глобальные стратегии, которые пересекают локальные формы тактики господства и используют их.

Наконец, в-третьих, следует пояснить, что значит фраза о необходимости отношения господства выделять раньше, чем истоки суверенитета: она означает, что не надо пытаться проследить отношения господства в свете основополагающей легитимности, а надо, напротив, искать обеспечивающие их технические инструменты. Итак, если резюмировать сказанное не с тем, чтобы закрыть вопрос, по крайней мере пока, а чтобы сделать его немного яснее, скажем: прежде чем рассматривать исходную троичность закона, единства и субъекта — это делает из суверенной воли источник власти и основу институтов, нужно, я думаю, исходить из троичности соответствующих техник, из их гетерогенности и вытекающих из них форм подчинения, что делает из способов господства реальную сеть отношений власти и основу глобальных механизмов власти. Главная тема — не генезис суверена, а производство субъектов. Но если ясно, что именно изучение отношений господства прокладывает путь к анализу власти, то возникает вопрос, как можно осуществить анализ отношений господства? Если верно, что именно не суверенитет, а господство или, вернее, формы господства, устройство господства в целом нужно изучать, то как можно двигаться вперед по этому пути исследования отношений господства? Могут ли отношения господства вновь привести к понятию соотношения сил или удовлетвориться им? Могут ли и каким образом силовые отношения сводятся к отношениям, складывающимся во время войны?

Вот какой предварительный вопрос я хотел бы немного рассмотреть в этом году: может ли война реально иметь значение для анализа властных отношений и служить матрицей техники господства? Вы мне скажете, что нельзя изначально смешивать рассматриваемое соотношение сил с отношениями воюющих сторон. Но можно смотреть на войну как на своего рода экстремальный случай, поскольку война представляется просто сферой максимального напряжения, обнаженности силовых отношений. Является ли в основе своей властное отношение отношением столкновения, борьбы насмерть, войны?

Следует ли понимать и рассматривать мир, порядок, власть, спокойную систему субординации, государство, государственные механизмы, законы как своего рода первичную и постоянную войну? Именно этот вопрос я хотел бы сразу поставить, признавая при этом и значение других вопросов, которые нужно ставить и которые я попытаюсь рассмотреть в последующие годы, из них можно для ориентировки просто назвать следующие: может ли и должен ли в реальности факт войны считаться первым при объяснении других отношений (отношений неравенства, асимметрии, разделения труда, эксплуатации и т. д.)? Могут ли и должны ли феномены антагонизма, соперничества, противостояния, борьбы между индивидами или группами, классами быть снова перегруппированы в соответствии с тем общим механизмом и той общей формой, какой является война? И еще: могут ли понятия, связанные с тем, что называли в XVIII, XIX веках искусством войны (стратегия, тактика и т. д.), служить сами по себе подходящим и достаточным инструментарием для анализа отношений власти? Можно и нужно бы также спросить себя: являются ли военные институты и связанная с ними практика — говоря в целом, все способы, которые используются при ведении войны. — являются ли они, непосредственно или опосредованно, прямо или косвенно, ядром политических институтов? Наконец, первый вопрос, который я хотел бы изучить в этом году, заключается в следующем: как, с какого времени и почему начали чувствовать или думать, что за отношениями власти и в них скрывается именно война? С какого времени, как, почему вообразили, что своего рода непрерывная борьба составляет мир и что в конечном счете гражданское устройство — в своей основе, сути, основных механизмах — является типом борьбы? Кто вообразил, будто гражданский порядок тождествен битве? Кто разглядел войну сквозь мир; кто искал в грязи битв принцип разумного устройства государства, его институтов и его истории?

Именно этот вопрос я постараюсь немного разобрать на ближайших лекциях и, может быть, вплоть до конца этого года. По сути, можно бы поставить вопрос очень просто и, прежде всего так, как я его сам для себя сформулировал: «Кому по существу пришла идея перевернуть принцип Клаузевица, кто сказал: очень возможно, что война это политика, проводимая другими средствами, но является ли политика войной, проводимой другими средствами?». Однако, я думаю, проблема состоит не столько в том, чтобы знать, кто перевернул принцип Клаузевица, сколько в том, чтобы знать, каков был принцип, который перевернул сам Клаузевиц, или, скорее, кто сформулировал принцип, который Клаузевиц перевернул, когда сказал: «Но в конечном счете война есть просто продолжение политики». Фактически, я думаю — и попытаюсь это доказать, — что принцип, согласно которому политика это война, продолженная другими средствами, существовал задолго до Клаузевица, а он просто перевернул подобие одновременно смутного и точного тезиса, который имел хождение начиная с XVII и XVIII веков. Таким образом, политика это война, продолженная другими средствами. В этом тезисе — в самом его существовании задолго до Клаузевица — заключен род исторического парадокса. Действительно, схематично и несколько огрубление можно сказать, что вместе с ростом и развитием государств в течение всего средневековья и на пороге современной эпохи мы наблюдали, как происходила очень заметная, явная эволюция практических форм и институтов войны, что можно охарактеризовать следующим образом: военные институты и соответствующая им практика все более и более концентрируются в руках центральной власти; мало-помалу устанавливается порядок, при котором на деле и по праву только государственная власть

могла начинать войну и манипулировать инструментами войны: происходит, следовательно, этатизация войны. В силу этой этатизации одновременно оказываются уничтожены в обществе отношения между людьми, отношения между группами, которые можно было бы назвать повседневной войной, фактически «частной войной». Все более войны, военная практика, военные институты начинают в некотором роде существовать только на границах, на внешних границах между большими государственными объединениями как эффективное и грозное соотношение сил между государствами. И мало-помалу социальный организм оказывается целиком очищенным от этих агрессивных отношений, которые во времена средневековья существовали непосредственно внутри него. В силу этатизации, в силу того, что война оказывалась деятельностью, осуществляемой за пределами государства, она становилась профессиональным делом тщательно отобранного и подлежащего контролю военного аппарата. Происходило, грубо говоря, становление армии, института, которого, по сути, не было в качестве такового в средние века. Только в конце средневековья можно видеть возникновение государства, наделенного военными институтами, пришедшими на смену повседневной, глобальной практике войны и обществу, пронизанному военными отношениями. К этой эволюции нужно будет вернуться; но я думаю, что можно согласиться с этой точкой зрения, приняв ее, по крайней мере, в качестве первой исторической гипотезы.

Однако где же парадокс? Парадокс возникает в момент отмеченной трансформации (или, может быть, вскоре после нее). Когда война была изгнана к границам государства, государства централизованного и одновременно вытесненного к границам, тогда возник особый, странный и новый дискурс. Новый, прежде всего, потому, что, я думаю, это был первый историко-политический дискурс об обществе и он очень отличался от до того привычного философско-юридического дискурса. Вновь появившийся историко-политический дискурс оказывается в то же время дискурсом о войне, понятой как постоянное социальное отношение, как неустранимая основа всех отношений и всех институтов власти. Но какова дата рождения историко-политического дискурса о войне как основе социальных отношений? Очень симптоматично — я попытаюсь это показать, — что он появился после окончания гражданских и религиозных войн XVI века. Он появился вовсе не как результат констатации или анализа гражданских войн XVI века. Зато он уже был если не конституирован, то, по крайней мере, ясно сформулирован в начале английских великих политических битв XVII века, в момент Английской буржуазной революции. Затем он появился во Франции в конце XVII века, в конце царствования Людовика XIV, в других политических битвах, можно сказать, в арьергардных битвах французской аристократии против установления великой абсолютной и административной монархии. Как вы видите, дискурс этот был явно двусмысленным, так как, с одной стороны, в Англии он служил одним из инструментов борьбы, полемики и политической организации буржуазных, мелкобуржуазных и в особых случаях народных объединений против абсолютной монархии. Он был также дискурсом аристократическим, направленным против той же самой монархии. Поэтому его носители имели часто никому не известные и в то же время очень разные имена, в Англии это были люди типа Эдварда Коука<sup>1</sup> или Джона Лилберна<sup>2</sup>, представителей народных движений; во Франции он в равной мере связан с именами вроде Буленвилье,<sup>3</sup> Фрере<sup>4</sup> или дворянина Центрального Французского Массива, называвшего себя графом д'Эстеном.<sup>5</sup> Он был воспринят потом Сийесом<sup>6</sup>, а также Буонарроти<sup>7</sup>, Огюстеном Тьерри<sup>8</sup> или Курте.<sup>9</sup> И в конце концов его можно встретить у биологов-расистов, у сторонников

евгеники и прочих в конце XIX века. Это был усложненный, ученый, эрудированный дискурс, которого придерживались люди, привыкшие к пыли библиотек, но в то же время, как вы увидите, его, несомненно, придерживались многие безымянные представители народа. Каково было содержание этого дискурса? Я думаю, он состоял в следующем: в противовес философско-юридической теории в нем утверждалось, что политическая власть не возникает в результате прекращения войны. Принцип организации, юридической структуры власти, государств, монархий, обществ не возникает лишь тогда, когда прекращается бряцание оружия. Войну нельзя замять. Можно сказать наверняка, что война способствовала рождению государств: право, мир, законы замешаны на крови и грязи военных баталий. Речь идет не о воображаемых баталиях, о соперничестве, как склонны представлять дело философы и юристы: жестокость государственного правления не представляет собой теоретически выведенный постулат. Закон не рождается из природы, возле источников, посещаемых первыми пастухами; закон рождается из реальных битв, побед, убийств, завоеваний, которые имеют свою дату и своего ужасного героя; закон рождается из сожженных городов, опустошенных земель; закон рождается из агонии невинных младенцев, убиваемых при свете дня.

Но это не означает, что общество, закон и государство воплощают собой как бы состояние перемирия, заключенного в ходе войны или появившегося в результате победы. Закон — не способ перемирия, ибо в присутствии закона война продолжает свирепствовать внутри всех, даже самых упорядоченных механизмов власти. Именно война является движущим стимулом институтов и порядка: даже малейшие проявления мира скрыто порождены войной. Иначе говоря, нужно раскрыть в мире присутствие войны: война — сам шифр мира. Таким образом, мы все находимся в состоянии войны по отношению друг к другу; фронт войны постоянно пронизывает все общество, и именно он определяет нашу принадлежность к тому или иному лагерю. Нет никого, кто оставался бы нейтральным. Поневоле каждый является противником другого. Структура общества оказывается бинарной. И вы увидите, как проявляется здесь нечто очень важное, к чему я попытаюсь позже вернуться. Описанию общества, как большой пирамиды, которое было дано в средние века или в философско-политических теориях, тому знаменитому образу организма или человеческого тела, которое дает Гоббс, или еще той, значимой для Франции (и до некоторой степени для ряда стран Европы) трехчленной (с тремя уровнями) организации, которая будет определять некоторые дискурсы и, во всяком случае, большинство институтов, всему этому противопоставляется — совсем не в первый раз, но в первый раз с такой точной нацеленностью на историю — бинарная концепция общества. Есть две группы, две категории индивидов, две противостоящие друг другу армии. И как раз тогда, когда нас с помощью умолчания, иллюзий, лжи пытаются уверить в существовании трехчленной структуры, пирамиды субординации или организма, когда нас путем лжи пытаются уверить, что социальный организм управляется то ли природной необходимостью, то ли функциональными требованиями, нужно вновь увидеть, что в обществе продолжается война со всеми ее случайностями и перипетиями. Но почему нужно видеть в обществе войну? Потому что эта старая война [...] имеет перманентный характер. Мы в самом деле большие знатоки баталий, потому что война не закончена, решающие бои еще впереди, решающая битва за нами. Это значит, что наши враги продолжают нам угрожать и мы не можем завершить войну перемирием и восстановлением порядка, так как реальным завершением может стать только победа.

Вот первая, еще очень расплывчатая характеристика анализируемого дискурса. Я думаю, что достаточно сказанного, чтобы понять его значение: он в западном обществе со времен средневековья является первым строго историко-политическим дискурсом. Прежде всего в силу того, что субъект этого дискурса — тот, кто говорит «я» или «мы», — не может и даже не стремится стать на позицию юриста или философа, то есть универсального субъекта, схватывающего общество в целом или нейтрального. Субъект историко-политического дискурса, который говорит, высказывает истину, рассказывает историю, к кому возвращается память, вынужден принять ту или другую сторону: он борется, у него есть противники, он действует ради определенной победы. Конечно, он придерживается дискурса права, он заставляет ценить право, он его требует. Но он требует и заставляет ценить «свои» права — «наши права», как он говорит: это права особые, несущие сильный отпечаток собственности, завоевания, победы, его натуры. Это право его семьи или расы, право его верховенства или первенства, право победоносных завоеваний и недавних или тысячелетней давности захватов. В любом случае это право укоренено в истории и не имеет отношения к юридической универсальности. И если субъект, говорящий о праве (или, скорее, о своих правах), говорит об истине, то эта истина также не является универсальной философской истиной. Этот дискурс о всеобщей войне, пытающийся раскрыть борьбу, происходящую в ситуации мира, имеет цель выразить всю совокупность событий как битву и воссоздать глобальный ход войны. Но он не становится в силу этого тотальным или нейтральным дискурсом; он всегда оказывается дискурсом перспективы. Он выражает целостность, только смутно ее замечая, проникая в нее, он заменяет ее своим собственным видением. То есть истина может раскрыться, только исходя из борьбы, искомой победы, в некотором роде на пределе выживания самого говорящего субъекта. Подобный дискурс устанавливает глубокую связь между силой и истиной. Это также означает, что связь истины и мира, истины и нейтральности, ее близость к той срединной позиции, относительно которой Жан-Пьер Вернан<sup>10</sup> показал, насколько она была значима для греческой философии, эта связь начиная, по крайней мере, с некоторого момента прекращается. В таком дискурсе истина проявляется тем лучше, чем четче она выражает позицию в борьбе. Именно принадлежность дискурса к определенному лагерю, что можно обозначить как позицию, смещенную по отношению к центру, позволяет раскрыть истину, разоблачить иллюзии и заблуждения, с помощью которых враги заставляют вас верить в то, что вы находитесь в упорядоченном и мирном обществе. «Чем более я отдаляюсь от центра, тем лучше вижу истину; чем более я делаю акцент на силовых отношениях, чем более я борюсь, тем более эффективно раскрывается передо мной истина, она раскрывается в ситуации борьбы, выживания или победы.» И наоборот, если силовые отношения помогают раскрыть истину, истина в свою очередь ведет к действию и она в конечном счете отыскивается в той мере, в какой может быть эффективным оружием в столкновении сил. Либо истина дает силу, либо она выводит из равновесия, увеличивает асимметрию и заставляет в конце концов победу склониться на какую-то одну сторону: истина прибавляет силу в той же мере, в какой она постигается, только исходя из соотношения сил. Сущностная принадлежность истины к силовым отношениям, к асимметрии, к децентрализации, к борьбе, к войне вписана в сам тип подобного дискурса. В нем содержится глубокое сомнение в отношении мирной универсальности, если не глубокое пренебрежение к ней, к той универсальности, которая всегда может, как это было в греческой философии, войти в философско-юридический дискурс.

Итак, имеется историко-политический дискурс — и именно поэтому он исторически укоренен и политически децентрирован, — который претендует на обладание истиной и правом, исходя из силовых отношений и с целью развития самих этих отношений, причем в результате говорящий субъект — субъект, говорящий о праве и ищущий истину, отлучается от юридически-философской универсальности. Роль того, кто говорит, не является ролью законодателя или философа, стоящего между борющимися лагерями, сторонника мира или перемирия, о такой позиции уже мечтал Солон и еще мечтал Кант<sup>11</sup>. Здесь речь идет совсем не о том, чтобы встать между противниками, оказаться в центре или над ними, предложить каждому общий закон и основать примиряющий всех порядок. Речь идет скорее о том, чтобы показать право, пораженное асимметрией, указать связь истины с силой, выявить истину-оружие и особое право. Субъекта, который говорит, я не назвал бы даже полемизирующим, это воюющий субъект. Такова одна из важных особенностей характеризуемого дискурса, которая, вероятно, уже разрушает практиковавшийся в течение тысячелетий, более чем в одном тысячелетии, дискурс об истине и законе. Вторая особенность этого дискурса состоит в том, что он перевертывает ценности, нарушает равновесие, меняет традиционные полюса интеллекта и постулирует необходимость объяснения снизу, призывает к этому. Но взгляд снизу, разумеется, не является ясным и простым. Объяснение, начинающее снизу, отталкивается от самого смутного, темного, неупорядоченного, подверженного случайностям; и то, что должно служить принципом объяснения общества и его видимого порядка, представляет собой смесь насилия, страстей, ненависти, гнева, злобы, горечи; это также тьма случайностей, совпадений, незначительных обстоятельств, которые приводят к поражению и обеспечивают победу. Подобный дискурс по существу обращается к немногословному богу баталий, чтобы объяснить долгие периоды порядка, труда, мира, справедливости. Именно ярость лежит в основе спокойствия и порядка. Что это означает для исследования истории?[10] Прежде всего необходимость внимания к грубым фактам, их можно было бы уже назвать физико-биологическими: это физическая мощь, сила, энергия, размножение расы, слабость другого и т. д.; кроме того, это ряд случайностей, совпадений как условие поражений, побед, крушения или успеха восстаний, удачи или неудачи объединений или союзов; наконец, это связь психологических и моральных элементов (храбрость, страх, презрение, ненависть, забвение и т. д.). Согласно данному дискурсу, именно взаимодействие физических сил, страстей и случайностей составляет постоянную основу истории и разных обществ. И именно на основе сил, случайностей и страстей, всей этой массы и ее темного и иногда кровавого шевеления, выстраивается нечто хрупкое и поверхностное, возрастающая рациональность расчетов, стратегий, хитростей; рациональность технических приемов, служащих для удержания победы, для того, чтобы, по видимости, заставить замолчать войну, чтобы сохранить или изменить соотношение сил. Подобная рациональность, по мере того как ее носители поднимаются вверх и по мере того как она развивается, становится по сути все более и более абстрактной, все более и более хрупкой и иллюзорной и все более связанной с хитростью и злобой тех, у кого больше нет надобности, чтобы вести открытую борьбу, так как он является победителем и ему благоприятствуют отношения господства. Таким образом, эта объяснительная схема строится по восходящей линии, которая указывает на ценности, весьма, как я думаю, нетрадиционные. Внизу эта линия связана с глубинной и постоянной иррациональностью, иррациональностью грубой и обнаженной, но в ней коренится истина; и затем, в выше расположенных ее частях возникает хрупкая, непостоянная рациональность, всегда компромиссная и связанная с иллюзией и

посредственностью. Разум — это область химеры, хитрости, ничтожества; по другую сторону или на другом конце линии существует элементарная грубость: совокупность поступков, действий, страстей, циничная и обнаженная ярость; здесь царит грубость, но она связана с истиной. Итак, истина связана с неразумием и грубостью; зато разум предрасположен к химерам и к посредственности: следовательно, все оказывается противоположным ранее существовавшему дискурсу о праве и истории. Объяснительная схема последнего состояла в том, чтобы отделить глубинную, постоянную, по своей сущности связанную со справедливостью и благом рациональность от всех поверхностных и насильственных актов, базирующихся на заблуждении. Это означало полное изменение точек отсчета при объяснении закона и истории.

Третья особенность того типа дискурса, который я хотел бы немного проанализировать в этом году, заключается, как вы видите, в том, что он целиком развивается в историческом измерении. Он разворачивается в истории, которая не имеет никаких краев, окончаний, границ. В таком дискурсе история не рассматривается как тусклая размытая данность, которую нужно заново организовать на основе некоторого числа стабильных и основополагающих принципов; его задачей не является осуждение несправедливых правительств, злоупотреблений и насилий в ходе сопоставления их с некоей идеальной схемой (говорит ли она о естественном законе, воле Бога, основополагающих принципах и т. д.). Напротив, он ориентирован на то, чтобы за формами установленной справедливости, 72 навязанного порядка, принятых институтов обнаружить и описать забытое прошлое реальных битв, действительных побед, поражений, которые, может быть, до того были замаскированы, но наложили все же глубокую печать на настоящее. Речь идет о том, чтобы вновь увидеть кровавую основу действующих кодексов, а не о том, чтобы обнаружить за мимолетностью истории абсолютность права: нужно не сопоставлять относительность истории с абсолютностью закона или истины, а вновь обрести за стабильностью права бесконечность истории, за формулой закона — крики войны, за равновесием справедливости — асимметрию сил. Рассматриваемый дискурс принадлежит к области исторического, которую нельзя даже назвать областью относительного, ибо она не находится в связи с чем-то абсолютным, история — это бесконечность, которая в некотором роде лишена относительности, бесконечность вечного ее растворения в механизмах и событиях, олицетворяющих силу, власть и войну.

Вы мне скажете — ив этом, я думаю, еще одна причина значимости рассматриваемого дискурса, — что это, конечно, удручающий и мрачный дискурс, предназначенный, может быть, для ностальгирующих аристократов или посетителей библиотек. Действительно, с самого начала и вплоть до более поздних периодов, в XIX и даже еще в XX веках, он опирался на традиционные мифические формы и часто в них содержался. В нем одновременно совмещались утонченные знания и мифы, не скажу грубые, но фундаментальные, тяжеловесные и перегруженные историческими символами. В конечном счете становится понятно, как подобный дискурс мог сочетаться (и вы увидите, как он фактически сочетался) с большими мифологическими темами: [ушедшая эпоха великих предков, неизбежность новых времен и тысячелетние реванши, образование нового королевства, которое изгладит воспоминание о прежних поражениях].<sup>12</sup> В этих мифах говорится о том, как великие победы гигантов были мало-помалу забыты и вовсе скрыты; как наступили сумерки богов; как герои были ранены или убиты, а короли засыпали в

недоступных пещерах. В них также присутствует тема о правах и владениях первой расы, поруганной хитроумными захватчиками; тема тайной войны, которая продолжается; тема заговора, который должен быть возобновлен с целью возрождения войны и изгнания захватчиков или врагов; тема славной битвы, которая наступит утром завтрашнего дня и изменит, наконец, соотношение сил, и побежденные, зависимость которых продолжалась веками, станут победителями, не щадящими никого. Во времена средневековья и еще позже беспрестанно возрождалась связанная с этой темой вечной войны великая надежда на день реванша, ожидание императора минувших дней, *dux novus*, нового вождя, нового руководителя, нового Фюрера; идея пятой монархии, или третьей империи, или третьего Рейха, который одновременно будет и зверем из Апокалипсиса, и спасителем бедных. Это и возвращение Александра, сгинувшего в Индии; и столь долго ожидавшееся в Англии возвращение Эдуарда Исповедника; и Карл Великий, упокоившийся в своей гробнице, который пробудится, чтобы начать справедливую войну; и два Фридриха, Барбаросса и Фридрих II, которые дожидаются в пещерах возрождения своих народов и своих империй; и король Португалии, затерявшийся в песках Африки, который вернется для новой битвы, для новой войны и на этот раз для окончательной победы. Итак, дискурс вечной войны не является только грустным изобретением нескольких интеллектуалов, которые долго находились на обочине. Мне кажется, что в обход великих философско-юридических систем этот дискурс прочно объединяет со знанием, принадлежащем иногда аристократам по происхождению, великие мифические импульсы, а также страсть народного реваншизма. В общем, этот дискурс является, может быть, первым исключительно историко-политическим дискурсом Запада в противоположность философско-юридическому дискурсу; он представляет дискурс, в котором истина явно выступает как оружие для победы только одной из борющихся сторон. Это дискурс мрачно-критический, но и в большой мере мифический: дискурс горечи [...] и самых безумных надежд. Он, таким образом, чужд великой традиции философско-юридических дискурсов. Для философов и юристов он неизбежно остается внешним, чужим. Это даже не дискурс противника, так как они не дискутируют с ним. Такой принудительно дисквалифицированный дискурс можно и нужно держать на расстоянии именно потому, что его уничтожение является предварительным условием внедрения — сам процесс борьбы меж противниками, над ними — справедливого и правильного дискурса. Во всяком случае, дискурс, о котором я говорю, пристрастный дискурс войны и истории, мог фигурировать в греческую эпоху в форме хитроумного софистического дискурса. И всегда он может быть разоблачен как дискурс пристрастного и наивного историка, дискурс ожесточенного политика, лишённого владений аристократа или как дискурс, выдвигающий необоснованные требования. Однако этот дискурс, находящийся по существу в структурном отношении на обочине дискурса

философов и юристов, начал, я думаю, свою карьеру или, возможно, новую карьеру на Западе в очень специфических условиях — между концом XVI века и серединой XVII века в ситуации двойной, народной и аристократической, борьбы с королевской властью. Исходя из этого, я думаю, что он широко распространился и что его распространение, вплоть до конца XIX века и в XX веке, было значительным и быстрым. Но не следовало бы думать, что диалектика представляет собой философское преобразование этого дискурса. Диалектика может на первый взгляд показаться дискурсом универсального и исторического развития противоречия и войны. Но я думаю, что она фактически вовсе не имеет силы его философского узаконения. Мне, напротив, кажется, что она скорее выполняла функцию

захвата и перемещения рассматриваемого дискурса в старую область философско-юридического дискурса. По сути диалектика превращает борьбу, войну и столкновения в логику или так называемую логику противоречия; она их включает в двойной процесс развития тотального знания и обновления рациональности, которая одновременно является целевой, но связанной с сущностью вещей и во всяком случае необратимой. Наконец, диалектика прослеживает на основе рассмотрения всей истории и образование универсального субъекта, связной истины, права, в котором все партикулярное™ получили бы свое законное место. Гегелевская диалектика и, я думаю, все следующие за ней должны быть поняты — это я попытаюсь вам показать — как колонизация и авторитарное усмирение с помощью философии и права историко-политического дискурса, который был одновременно констатацией, провозглашением и практикой социальной войны. Диалектика колонизовала историко-политический дискурс, который самостоятельно развивался в Европе в течение веков, иногда приобретая громкое звучание, но часто в безвестности, иногда с помощью эрудиции, а иногда вырастая из крови. Диалектика — это усмирение с помощью философии и, может быть, политического порядка горького и пристрастного дискурса глубинной войны. Вот в таких общих рамках я намерен немного рассмотреть в этом году историю этого дискурса. Я хотел бы теперь сказать вам, как следует проводить это исследование и до какого пункта. Сначала надо устранить некоторое число ложных сопоставлений, употребляемых обычно при характеристике историко-политического дискурса. Ибо, как только начинают думать об отношении власть — война, власть — силовые отношения, то на ум тотчас приходят два имени: Макиавелли и Гоббс. Я хотел бы вам показать, что рассматриваемый дискурс не имеет с ними ничего общего, что фактически историко-политический дискурс не является и не может быть политическим дискурсом государя<sup>13</sup> и, конечно, дискурсом абсолютного суверенитета; что подобный дискурс может рассматривать государя только как иллюзию, инструмент, или еще лучше, как врага. По сути этот дискурс отрубает голову королю, во всех случаях освобождается от суверена и разоблачает его. Устранив эти фальшивые сближения, я хотел бы остановиться на вопросе о появлении этого дискурса. Мне кажется, что нужно попытаться отнести его к XVII веку, когда сформировались его важные черты. Прежде всего отмечу, что рождение этого дискурса происходило в двух местах: с одной стороны, он появляется примерно к 1630 г. в предреволюционной и революционной Англии в народных или мелкобуржуазных требованиях, это дискурс пуритан, дискурс левеллеров. Потом мы его находим пятьдесят лет спустя на противоположном берегу, во Франции в конце царствования Людовика XIV, где он также оказывается дискурсом борьбы против короля, выражением горечи аристократов. И затем, что важно, начиная с этой эпохи, то есть с XVII века, можно видеть, как идея, согласно которой война составляет постоянную основу истории, обретает четкую форму: война, которая ведется под видимостью порядка и мира, которая действует в нашем обществе и разделяет его надвое, это, по сути, война рас. Очень рано можно заметить те основные элементы, которые обуславливают войну и содействуют ее сохранению, продолжению и развитию: это этнические, языковые различия; различия в силе, мощи, энергии и насилии; различия в жестокости и варварстве; это в целом завоевание и порабощение одной расы другой. Общество в основе своей держится на двух расах. Это и есть сформулированная начиная с XVII века идея, согласно которой общество всецело охвачено столкновением рас, она послужила матрицей всех будущих форм, с помощью которых позже будут выражать природу и механизмы социальной войны. Отправляясь от теории рас или, скорее, от теории войны рас, я хотел бы проследить ее историю в эпоху

французской революции и особенно в начале XIX века, когда она была развита Огюстеном Тьерри и Амадеем Тьерри<sup>14</sup>, и посмотреть, какие два изменения она претерпела. С одной стороны, она примет открыто биологическую форму, что произойдет к тому же задолго до Дарвина при использовании дискурса, понятий, языка материалистической анатомо-физиологии. Она будет также опираться на филологию, в результате произойдет рождение расовой теории в историко-биологическом смысле слова. Эта теория еще очень двусмысленная, почти как в XVII веке, она основывается, во-первых, на национальных движениях в Европе и на борьбе национальностей против больших государственных систем (в основном, австрийской и русской); а во-вторых — на политике европейской колонизации. Вот первая трансформация — биологическая — теории постоянной борьбы и борьбы рас. Вторая трансформация произойдет в связи с выдвижением большой темы и соответствующей теории социальной войны, которая будет направлена на затушевание расового конфликта и выдвижение на первый план классовой борьбы. Таким образом, наблюдается существенное разветвление дискурса, которое я попытаюсь воссоздать путем анализа того, как представлены виды социальной борьбы в теории диалектики и тема столкновения рас в теории эволюционизма и борьбы за жизнь. Прослеживая особенно вторую из указанных ветвей — трансформацию в биологическом духе, — я попытаюсь показать все развитие биолого-социального расизма, выдвинув идею (которая является абсолютно новой и заставит дискурс функционировать совершенно иначе) о том, что, по сути, другая раса на самом деле не пришла откуда-то, она не является носителем победы и установления господства в определенный период, она постоянно и непрерывно проникает в социальный организм или, скорее, она постоянно создается в социальной системе и из нее. Иначе говоря, то, что мы воспринимаем как полярность, как бинарную структуру общества, не является столкновением двух внешних друг другу рас; это раздвоение одной и той же расы на сверхрасу и недорасу. Или можно еще сказать так: это повторное появление внутри расы ее собственного прошлого. Короче, проявление в самой расе ее оборотной и скрытой стороны.

Теперь мы можем сформулировать такое фундаментальное заключение: дискурс борьбы рас, который в момент своего появления и начала функционирования в XVII веке был, по существу, инструментом борьбы для противостоящих лагерей, оказывается в центре и становится дискурсом власти, власти центра, власти централизованной и централизующей; дискурсом борьбы, которая ведется не между двумя расами, а внутри данной расы как подлинной и единственной, борьбы тех, кто держит власть в своих руках и определяет норму, против тех, кто формируется через отношение к этой норме и представляет столько опасностей для биологического генотипа. В это время можно наблюдать все биолого-расистские дискурсы о вырождении, а также все институты, которые заставляют функционировать внутри общества дискурс борьбы рас, включающий принцип вытеснения, сегрегации и в конечном счете нормализации общества. Поэтому дискурс, историю которого я хотел вам описать, вынужден отказаться от основной исходной формулировки, гласившей: «Мы должны защищаться против наших врагов, потому что фактически государственный аппарат, закон, структуры власти не только не защищают нас от врагов, а становятся инструментами, с помощью которых наши враги нас преследуют и поработают». Такой дискурс теперь исчезает. Больше не говорят: «Мы защищаемся от общества», а говорят: «Мы защищаем общество от всех биологических опасностей другой расы, этой под-расы, контр-расы, которую мы, вопреки себе, создаем.». В таком случае расистская тематика превращается из инструмента борьбы одной социальной группы против другой в оружие

глобальной стратегии социального консерватизма. Появляется, что парадоксально по отношению к конечным целям и первой форме того дискурса, о котором я вам рассказывал, государственный расизм: расизм, который общество использует внутри себя самого, в отношении своих собственных элементов, своих собственных порождений; внутренний расизм, расизм постоянного очищения, который является одним из основных элементов социальной нормализации. Поэтому в этот год я хотел бы немножечко рассмотреть историю дискурса борьбы и войны рас, начиная с XVII века и доводя его до появления государственного расизма в начале XX века.

---

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:39:09

Зверобой обновил 27 января 2026 04:40:00